

Хорошо лететь, когда под крылом самолета не клубятся едучие дымы, не мельтешат багровые гребешки пожаров, не вскидываются злые фонтаны разрывов. Земля дышит миром, тишиной: перекидистыми волнами плещутся сизоватые нивы, зелеными каравеллами плывут лесные островки, мелькают причудливые лабиринты человеческих поселений, неторопко бегут куда-то узкие стежки речек и дорог.

Как долго не был я в отчем краю. И вот он, раскидистый, неоглядный, встречает меня началом безмятежного пролета. И еще, наверное, встречает Иринка, та самая Иринка, которая заставила меня сказать: «Люблю...»

Давно это было. В ту пору стучался к ней девятнадцатый июнь, и мы сторожили памятную зорю в разливе берестени, что подмывала окраины нашего городка. Уже замирали последние отзвоны соловьиной ночи, когда Иринка, боясь потревожить чуткую зыбь рассвета, тихо сказала: «Вот мне и восемнадцать. Поздравь меня, человек. Это же здорово — восемнадцать! Да? А теперь по домам, голубые петлички? Встретимся у памятника Чайковскому, а хочешь — тут, в Лебединой балке. Слышишь, Костя? Обязательно приходи».

Но встретиться нам так и не пришлось. И только ныне, четыре года спустя, я иду к тебе, Иринка. Иду курсом сорок шесть — с запада на северо-восток. Иду и радуюсь этому удивительному совпадению — курс сорок шесть, и нам с тобой тоже сорок шесть: тебе двадцать два, мне — на два больше.

Вон уже показался пятачок аэродрома. Разворачиваюсь и захожу на посадку. Ты видишь бурунистую борозду над головой? Все думают, что это просто инверсия — охлажденный выхлопной газ, а это след моей песни, прилетевшей из далекого далека.

Мягкое, догорающее солнце, подрумянив лиловатый настой вечеряющего неба, медленно смежает свои невесомые ресницы. И знаешь почему медленно, Иринка? Потому что хочется ему показать, как врачует оно уставшую от войны землю, наливает соком изреженный и покалеченный березняк, помогает человеку залечивать раны обшарпанного снарядами города. И хотя до сих пор на лице земли не затянуты ржавые плешины, и березовый подгон дотянулся пока до

струпастых наростов на стволах лесных старожил, и на городских улицах еще зияют щербатины,— все-таки оно, солнце,— чертовски щедрая душа!

Умолк разгоряченный басовитый мотор, остановил свой ритмический круговорот серебристый винт, замерли стрелки на приборной доске. Спасибо тебе, крылатый друг за все — и за то, что вынес бешеную скачку в огненном небе, и за то, что не раз, опрокидывая в тартарары недругов, выносил меня с поля смерти, и за то, что домчал до родной пристани, откуда улетал я, поднятый тревожным зовом сирены.

Я расскажу Иринке, какими ветрами обдувало тебя, какими жарами опалало, сколько раз латали пробитое тело твое, и почему на боках твоих от боя к бою все ярче алело победное созвездие. Расскажу и о том, как мечтали мы о ней, читали ее письма и тосковали.

Помнишь тот день, когда перед вылетом пришло от нее последнее письмо, а потом ты надолго попал к ремонтникам, а меня зачислили в списки без вести пропавших? С тех пор капризная судьба затеряла Иринкины следы...

2

Последнее письмо. Я помню его от слова до слова...

«...Костя, ну давно ли мы затаивали дыхание: не спугнуть бы перелетную птаху варакушку. Не забыл? Спинка у нее такая буроватая, в синей оторочке горлышко и зоб, а пониже — красно-желтый бант и снежная пелеринка. Казистый, хоть и самый никудышный соловьишко. Да ведь и веселого пустоплета-переимца жалко было спугнуть. Правда?

А то вспоминаю, как вторил ты мне приговору о росе: «Заря-заряница, красная девица, врата запирала, по полю гуляла, ключи потеряла, месяц видел, а солнце скрало». Что в ней, кажись, в росе-то? А шли мы с тобой из Лебединой балки и кланялись каждой ветке-недотроге: заденешь ненароком — прощай росные чудо-зеркала.

Или поцветье всякое тоже. Чуть ли не с первой ростали и до самых злынь-холодов глядишь, бывало, не наглядишься на него. Все любо — и первый колокольчик на подснежье, и последний альый гребешок цветка по зазимью.

А теперь смуро на душе у людей, не до птичьей звени и росной радуги им, не до трепета листьев и глазастого разноцветья.

Ты ведь помнишь, Костя, как цепенела я при виде всякой, даже самой малой диковинки. А вчера ходила на задание и такое натворила, что сама себе дивлюсь.

«Красота!» — весело орет чернобородый Леший, — это командир нашего отряда, Алексей Степанович. Правда, подходящая фамилия для партизанского вожака, хозяина леса? Да. «Красота!» — орет он, а я лежу в затулине, оглушенная, вымокшая, и тоже радуюсь. Радуюсь! Понимаешь? Как-то ожесточенно, вроде бы не по-человечески. Вот видишь, голубые петлички, как время переиначило слово «красота»...

Давно я тебе не писала: то недосуг, то переходы от станова к становой по непролазным чащобинам и болотным мочажинам, а сегодня Леший говорит: «Отдыхай, дочка, ради соловьиного дня. Знаешь небось, что соловьи прилетают второго мая? А с вечера в разведку пойдешь. Через недельку так лупанем по немчуре («лупанем» и «красота» — любимые словечки Степаныча), что забудут, откуда пришли». Ну и сию в вот, пишу тебе всякую всячину.

Да, о вчерашнем-то не досказала. За полночь добрались мы к железнодорожному перегону, неподалеку от Приокского урочища. Двое в охранение стали, один — в секрет, а мы с Лешим тол под рельсы закладываем. Приготовили все и залегли. Ждем состав, груженный снарядами, слушаем — не стучат ли колеса по рельсам, сторожко глядим, хота и кругом тьма-тьмуца.

— Идет, — шепчу командиру. — Шнур зажигать?

— Погоди, Иринка, — торкается Леший бороденю в самое ухо. — Это разведка ихняя. Вишь, с дрезины огнища полосуют. Нас вышаривают.

Прошла дрезина, и снова темь, хоть глаз выколи. Тишина давит на нервы. Никогда я не думала, что она может быть такой беспокойной. Значит, бывает. Кажется, все замерло, только тревожно шушукуются деревья, словно предупреждают нас: «Ти-ше, ти-ше». А уж куда тише-то.

— Идет! — чуть ли не крикнула я, тормоша Степаныча за рукав. — Запаливать?

Леший оттопырил ухо ладонью, потом припал к земле:

— Идет Федот, да не тот, — гудит в бороду. — Платформы гремят, а паровика не чую. Поняла?

— Пробуют?

— На мякину не клюнем. Они хитры, а мы похитрее.

Оказывается, немцы всегда так делают в партизанских краях — вперед пускают платформы с камнями или пе-

ском, и если они взорвутся, следом — основной состав.

Минут через пять затарахтело. «Тут ли, тут ли?» — как бы выпрашивают колеса, громыхая на рельсовых стыках.

— Тут мы, тут,— усмехается наш бородач.— Малость погода посмотрим: «гут ли, не гут ли?». Лупанем и посмотрим. А, Иринка?

— Лупанем,— говорю,— Алексей Степаныч! — А у самой спички в коробке приплясывают. Руки, что ли, знобит от нетерпения?

Ты мне как-то писал, Костя, когда за тобой, безоружным, увязались четыре «мессершмитта», что несколько минут показались длинющим годом, и ты успел всю жизнь вспомнить. Вот и я тоже многое вспомнила, пока сидела в засаде. И нашу первую встречу на выпускном вечере — как девчонки завидовали мне: «Иринка отхватила летчика!»; и свою настырность (подумать только, сама домогалась: «Костя, а ты любишь меня?») И хотя ты говорил, что любишь, я все-таки снова и снова приставала: «Повтори еще». Первый раз ведь, Костя, слышала я такое слово, потому и казалось оно музыкой, сладким хмелем); и ссору помню из-за рыжей вертихвостки с птичьими глазами, с которой ты танцевал в Доме Красной Армии, не дождавшись меня; и последнюю встречу в Лебединой балке, когда я сказала, что никому тебя не отдам, потому что тебя может окрутить любая красивая финтифлюшка в юбке, а я не финтифлюшка, хоть и в юбке тоже: меня еще никто не целовал, кроме тебя, голубые петлички...

— Идет! — теперь уже не я, а командир весь подался вперед.— Слышишь, Иринка?

Вот так и оборвались мои думы этим словом «идет».

«Жи-вым на страх, жи-вым на страх», — нарастала приглушенная угроза. Может быть, паровоз выфыркивал что-нибудь иное, но мне показалось именно это.

— Слышишь, Иринка,— приподняв кудлатую бороду, сказал Алексей Степаныч,— как шипит, подлец: «Держись, Леший, дер-жись, Леший».

— А мне почудилось другое: «Жи-вым на страх...»

— Ну, ты брось панихиду разводить!

— Ничего не брось,— огрызнулась я, но командир не ответил, занятый каким-то расчетом.

— Пали! — как выстрел, прозвучал его приказ.

Прыгнули искорки в черный омут.

— Добро! — кивнул Леший.— А теперь — айда!

Мы бросились от полотна в лес.

Когда паровоз проскочил наш потайной заряд, все похолодело во мне:

— Что же это, Степаныч?

— Цыц! — хватил меня Леший по голове, да так, что носом в какую-то прель чавкнулась. Лапа-то у него вон какая — медвежья.

И тут грохнуло.

Видела я, Костя, грозы, слышала громы, а такого тарарама отродясь не ведала.

— Красота! — весело во все горло орет Леший.

— Красота! — повторяю за ним и тоже радуюсь.

Второй вагон, подскочивший от взрыва, взгромоздился на первый, и оба они свалили под откос паровик. Видел бы ты, как этот железный мастодонт кувыркался, подминая под себя все, что попадалось на пути. Третий вагон спотыкнулся у взорванного места, его боднул четвертый. И пошла писать губерния! И влево, и вправо кидаются пульманы, сшибаются друг с другом, только переломанные ребра хрустят.

Приподнявшись, мы стали за толстые стволы деревьев и несколько минут наблюдали за этим жутким столпотворением.

— Неужели не будут рваться? — забеспокоился Алексей Степанович.

И только он проговорил, как громыхнули снаряды в первом вагоне, сдетонировавшие от огня. Стальной смерч вдребезги раскромсал мастодонта. Потом еще залп, еще, и началось такое столпотворение, что даже выдавший виды Леший и тот побрякивал от удовольствия:

— Эх, едрено копыто, вот это лупанули! Верно, Иринка?

— Верно, — говорю, — лупанули, Степаныч. А вот что такое «едрено копыто» — убей, не знаю.

— Гы-ы, — оскалился бородач. — Это оно самое и есть, — торкнул он кулачищем в сторону огня.

А снаряды все рвались и рвались, высоко швыряя обломки вагонов, раскромсанные шпалы, целые охапки земли.

— Ну, что ж, потопали. — Леший поправил перекосившийся на ремне автомат, повернулся широченной спиной к багровому зареву и крупно зашагал в чащобину.

Знаешь, Костя, я вчера совсем не думала о том, есть ли на свете восходы и закаты, росы и туманы, травы и птицы. Не думала о выгоревших цветах, оглушенных и переполошенных птицах. И это я, твоя дикарка, елюбленная в этот мир. Вот оно и выходит, что война переиначила это слово —

«красота». Что ж, может, и правильно вчерашнюю диверсию Леший назвал красотой. Ведь не подорви мы этот состав, немцы погубили бы столько живых душ, столько беды наделали бы, что трудно представить даже...

Сейчас посплю немного и буду собираться в разведку. Ох, и наслушаюсь ныне соловьев! Здорово они поют, Костя, в первую ночь после прилета. Буду слушать и вспоминать о тебе.

Иринка».

3

С тех пор капризная судьба затеряла Иринкины следы на целых два года. Ну, ничего, теперь-то я найду ее. Может, она ожидает меня у памятника Чайковскому или в Лебединой балке. Торопись, гвардии Костька, на первое послевоенное свидание.

— Товарищ майор, машина отходит!

Это меня зовут.

Шофер, белобрысый нахаленок в пилотке, предупредительно распахнул дверцу кабины, озорно подмигнул:

— С ветерком, товарищ гвардии майор?

— Жми на всю железку!

— Есть на всю! — улыбнулся парень.

Потом он спросил:

— Из Германии, товарищ майор?

— Из Германии.

— Вот и я только позавчера из Берлина.

— Когда же ты успел?

— А я обманул военкома, сказал, что мне восемнадцать, а метрика моя сгорела. Мастер, Иван Савельич, инвалид Отечественной, сначала отматерил на всю катушку, а потом сам пошел в военкомат и подтвердил, что мне действительно восемнадцать и что метрика моя сгорела. Выручил, старикан, а то бы так и не удалось на фронте побывать...

— Откуда сам-то?

— Здешний. Да ведь я знаю вас, в одной школе учились, вы — в десятом, а я — в пятом.

Вот оно что. Значит, почти однокашники. Потому он и подмигивает.

— Вас домой отвезти?

— Тормозни у памятника, а там доберусь, рядом.

— У какого памятника?

— Чайковскому.

— Фью! — присвистнул шофер. — Еще в сорок втором не повезло Петру Ильичу. Рядом бомба шарахнула. Так до сих пор и стоит покалеченный...

Невеселую штуку сказал ты мне, парень. У этого памятника было первое наше свидание с Иринкой после ее выпускного вечера в школе. Если памятник разрушен в сорок втором, значит, Иринка тоже не знала об этом, потому что в последнем письме упоминала о нем, надеялась, что цел. А если не знала, то не было и ее самой в городе: видно, уже тогда бродила по нелегким партизанским тропам.

— Сойдете? — затормозив машину, участливо спросил шофер. На его лице поостыло недавнее озорство, серые глаза затаили грустинку, словно понял он, что последней фразой своей невольно причинил мне боль, и теперь сожалеет об этом.

А может, у него свои воспоминания связаны с памятником? Многие горожане приходили сюда по вечерам. О чем-то говорили, спорили, мечтали.

Приходили, говорили, мечтали. А сейчас?

— Так вы сойдете, товарищ майор? — снова спросил солдат.

— Сойду.

Последние лучики солнца греют мраморный памятник, у мраморного тела композитора разворочено правое плечо, срезан подбородок, глубокая борозда пересекала большой открытый лоб. Десятки царапин обезобразили голову, лицо, весь бюст. И только глаза, немного усталые и запавшие, смотрят на мир с необыкновенным жизнелюбием, одухотворенностью.

«Костя, — писала Иринка в первый день войны, — когда вы улетели по сигналу «тревога», по радио передавали марш из третьей части Шестой симфонии Чайковского. Говорят, люди по-разному понимают музыку. Не знаю. Я понял этот марш так, что по-другому, мне кажется, его нельзя было и толковать. Слышались мне в нем и расстрелянный в Забужье рассвет, и смятенные неожиданной бедой сердца людей, и фантастический рокот стальных чудовищ, ползущих через границу, и какая-то стихийная сила огромного народного шествия, и, наконец, потрясающая воображение стойкость нашего русского характера.

И я тогда поверила, что никому нас не одолеть, поняла, что хотя многие из нас и погибнут в этой роковой ошибке

двух миров, но что значит чье-то личное небытие в сравнении с большой судьбой Родины, с вечностью прекрасной, постоянно обновляющейся жизни. Тогда же решила: уйду к партизанам...»

И она ушла.

Где же ты теперь, Иринка, и какой стала?

Я смотрю на знакомую площадь, узнаю и не узнаю ее. Слева от памятника недостает двухэтажного углового здания. Справа, за оградой, появилось что-то новое. Может, временный памятник Чайковскому?

Уже совсем завечерело. Где-то за окраиной города отпылала заря, а по светло-фиолетовому небу плыл желтоватый, еще не в полный налив, месяц. Загорались робкие зеленоватые фонарики звезд.

Что ж, фонарики, посмотрим на новый памятник, узнаем, кому его заложили добрые люди.

За невысокой железной оградой на квадратной каменной плите застыл конусок в человеческий рост. На вершине его посверкивает алюминиевая звездочка. Нет, не памятник. Обелиск. Вон и какие-то цветы у основания, и на фасаде жестяной прямоугольник с короткой надписью. Сколько их ныне, вот таких конусов, на площадях и улицах городов и сел, у перекрестков и обочин дорог. И под каждым покоится прах воина земли русской...

Рука невольно тянется к фуражке, глаза — к надписи: кто и когда здесь почил?

Иринка? Нет, нет!

Но жестянка-вещунья тычет в глаза: читай!

Иринка...

Круто скользнуло небо под ноги, куда-то за плечи швырнуло землю. Ни ограды, ни обелиска, ни этой безжалостной надписи — точно вселенная ринулась в головокружительный вираж, пытаясь уйти от чего-то недоброго, жуткого, невысказанного.

Что же это, Иринка? На двадцатой весне опалила тебя чужая гроза, подкосило нежданное лихолетье. А жизнь? А наша любовь? А красота? Ох, Иринка, Иринка, песня моя расцветная. Как без тебя-то?

«И я тогда... поняла, что хотя многие из нас и погибнут в этой роковой ошибке двух миров, но что значит чье-то личное небытие в сравнении с большой судьбой Родины, с вечностью прекрасной, постоянно обновляющейся жизни». Это твои слова, Иринка. Прости меня, я не сразу поверил в них. Не сразу потому, что за твоей склонностью к романти-



ке не сумел понять глубину переживаний, обостренность восприятия трагедии, готовность к тому, что читаю на этом обелиске...

4

Высокие, утешающие слова. Высокие... А Иринки нет. И теперь не скажешь «ты», а только «она», не «тебе», а «ей», не с «тобой», а с «ней», — все в невозвратном прошлом, в нереальности, потому что человека нет физически, как нет огонька потушенной свечи, растаявшей снежинки. Ее можно вспоминать, но нельзя воскресить, можно говорить о ней, но не с ней, и видеть ее нельзя, и слышать, а только силой представления можно вызывать бледное видение ее образа.

Свет надежды на встречу, на жизнь и любовь, свет, два года струившийся в ее письмах, уже никогда больше не пробьется из-под могильного холмика. И о чем думала в свой последний час, что видела, каким ей казался мир, что мысленно завещала людям, знала только она и никто больше, потому что ходила в последнюю разведку одна.

«Сейчас посплю немного и буду собираться в разведку. Ох и наслушаюсь ныне соловьев! Здорово они поют, Костя, в первую ночь после прилета...»

Нет, не о смерти думала она. О жизни. Как тогда, в ночь с двадцать первого на двадцать второе июня сорок первого года...

«Костя, ты думаешь, сказки — это сказки? А они живые. Хочешь, подарю тебе одну? Пойдем в березовую рощу, там и подарю. Только уговор — не курить и не шуметь, а то замрет сказка и спрячется улиткой в свой волшебный терем».

Милая далекая сказка. Она и поныне видится и слышится мне, только уж не так явственно, как тогда, будто потускнела и как-то приглушеннее стала звучать, отдаленная почти полутора тысячами дней.

Пока мы шли, Иринка рассказала легенду о Лебединой балке. Слышала ли она эту легенду от кого или сама, скорая на вымысел, придумала, но мне показалось, что так могло быть и даже, наверное, когда-то было...

И вот я иду в Лебединую балку, где осталась часть души, куда просила прийти первая любовь.

Иду и припоминаю ее рассказ.

«Давным-давно, может, во времена Ильи Муромца, а то и раньше, вся округа наша была заполнена непроглядными

добрями леса. Не было тогда ни городов, ни сел, ни торных дорог, ни полей нынешних — одна перевозданная чащобина.

Шептались в ней неохватные деревья-великаны, повеярая молодняку свою родословную и самые старые из старых легенд об этих местах. Еле приметными тропками без опаски бродило зверье, такое диковинное, какое ныне и вовсе перевелось. Звенели, цвенькали, хохотали и плакали непуганые птицы. А в самом потаенном месте, окруженная хороводом березок, голубела чаша лесного озера. Его-то и облюбовали залетные лебеди. И стало называться оно Лебединым.

Долго ли нежились в этой царственной глухомани лебеди, нет ли, но вот пришли сюда нелюди и погубили красоту. Стали чахнуть леса, переводиться редкостное зверье, затихать птичьи перезвоны. Дольше всех держались лебеди, но однажды и они покружили-покружили над пересохшим озером, прокричали горевальную песню, да и навсегда улетели.

А люди назвали бывшее Лебединое озеро Горевальной падью. И только совсем недавно, лет двадцать назад, Горевальная падь Лебединой балкой называться стала.

Какая же она Горевальная, коли снова там зазвенел родничок (Хрустальным его зовем), зашумело березовое половодье и все — от первой до седьмой — птичьи волны оседают в нем: сначала грачи, за ними — скворцы и зяблики; потом — зарянки и дрозды; а там — горихвостки и варакушки; в пятой волне — веснички, ласточки, кукушки и пеночки-трещотки; с первых чисел мая — соловушки; с двадцать третьего — иволги, перепела и коростели; и последней прилетает овсянка-дубровник. Всех-то птиц и не упомяну, уж больно много прилетает их.

А сама я больше всего люблю соловьев. И лебедей. Погоди, Костя, мы еще заполним живой водой нашу балку, и снова она будет, обязательно будет Лебединым озером. А соловьи, вот они, рядом. Только напьются росы с березовых листочков — и запоют...»

Трудно сказать, где кончилась легенда и началась явь, только что граничившая с обещанной сказкой и еще переходящая в нее, а Иринка все рассказывает и рассказывает, открывая передо мной волшебный храм красоты. И я промникаюсь к ней все большим уважением, потому что и сам становлюсь открывателем тысячеликого мира, заключенного во всеобъемлющем слове «жизнь».

Кажется, совсем недавно сказал я Иринке: «Люблю». Но в этом признании было, пожалуй, больше сердца, чем разума. Одним словом, понравилась, и все тут, а почему — выразить не умел. Может, привязанность к человеку, любовь к нему вообще трудно, даже почти невозможно объяснить в полной мере, потому что все порывы души, ее тончайшую впечатлительность, едва уловимые оттенки настроений и переживаний нельзя облечь в ясно выраженную плоть языковой речи.

Но теперь слово «люблю» все более наполняется осознанным чувством конкретности и потому становится еще приятательней. Я уже начинаю любить не только темно-карие глаза Иринки, светлый каштан ее волос, открытое радостное лицо, легкую стремительную походку, но и ее легенду, и этих птиц, и мечту о возрождении Лебединого озера, и ту сказку, что живет, оказывается, у Хрустального родника. И бог ведает, за что Иринка еще заставит меня бесконечное число раз повторять: «Люблю».

Да, я иду в Лебединую балку четыре года спустя, иду один, но кажется мне, что Иринка не убита на войне, а шагает со мной рядом, и я вижу ее, слышу, разговариваю с ней.

Вот и Лебединая балка.

Мы садимся на большой, в два обхвата, пень, сохранившийся, должно быть, с той самой поры, когда тут росли деревья-великаны.

— Тише, Костя,— припав к моему плечу, предупреждает Иринка.— Сейчас начнется. Слушай и смотри.

Прямо из-под ног полого уходит вниз поросшая травой раскидистая балка. В самой ложбине играет Хрустальный родничок, посверкивая бликами лунного света. А кругом от молодых босоногих березок белым-бело.

— Слышишь музыку? — Иринка показала рукой в сторону родника.

Оттуда, кажется, и в самом деле поднимались первые такты тихой, прозрачной мелодии, напоминающей какой-то фрагмент из балета «Лебединое озеро». Они постепенно пробивались из низины, нарастали, крепились, становились отчетливее и наконец стали слышны совершенно явственно.

— «Танец маленьких лебедей»?

Иринка жаркой ладонью прикрыла мои губы: «Тише!» Да, совершенно определенно — «Танец маленьких лебе-

дей». Он звучит все уверенней, естественней, ему становится тесно в низине, и он выплескивается на сугорье, к голым коленям березок, а сама балка залита уже не росными травами, а голубоватой озерной водой.

— Лебедушки пошли. Видишь, голубые петлички?

Иринка. Что она делает надо мной! То ли от непривычной близости к ней и ее гипнотического, завораживающего шепота, то ли от чарующей прелести летней ночи с такой звонкой тишиной и пьянящими запахами,— не знаю, но вдруг сладко закружилась голова и березки стали уже не березками, а стройными девчонками, начавшими свой колдовской «Танец маленьких лебедей».

— Костя,—Иринка прильнула щекой к моему виску,— о чем ты думаешь?

— О тебе.

Она взмахнула руками, словно легкими крыльями, и обвила ими шею.

— Дуралей. Милый дуралеюшка...

Нежно звучит, околдовывает воздушная, почти прозрачная «лебединая» мелодия. Приподнявшись на цыпочки, идет по кругу белый хоровод голенастых веселок. Горячат, обжигают сердце неумелые, трепетные девичьи губы. Бродит по жилам дурманящий хмель крови...

Живет сказка! Живет в хрусталинках поющего родника, в негустой суете Лебединой балки, в застенчивой нагоде лесных балерин, живет в нас обоих — в Иринке и во мне...

— Костя,—Иринка подобрала влажные разметавшиеся по плечам волосы,— останемся заревать? Пусть это будет наша заря. Первая. Ладно? Совсем до нее вот столько осталось,— она показала кончик мизинца.— Отпуют соловьи и начнет светать. А там уж и новая сказка будет. Понимаешь?

Это была не просьба: Иринка знала, что теперь я никуда и никогда без нее не уйду; она просто думала вслух, поверяла мне мысли свои.

— Иринка, тебе подарить звездочку?

— Какую?

— Самую молодую.

Она посмотрела на небо и покачала головой:

— Нет.

— Почему?

— Мало.

— А сколько хочешь?

— Все!

— Жадная...

— Нет, счастливая. Самая счастливая на свете, Костя! Ты подаришь мне все новорожденные звезды, а я раздарю их тем, кто сегодня узнал, что такое любовь. Дарить — это счастье, Костя, а?

— А еще в чем оно?

— Все знать и рассказывать другим о том, чего они не знают.

— А еще?

— Ну, Костя...

— Нет, а все-таки?

— Быть всегда с тобой...

— А если я разобьюсь?

— Не надо, Костя, — Иринка взяла мою голову в ладони, уткнулась в нее. — Не надо... Вон, слышишь, заревой соловушко заводит песню. Ты понимаешь соловьиное пение? Нет? Хочешь стану пояснять?

Невидимая птаха настраивалась на лад, издавая незатейливые пятисложные звуки. Иринка назвала их «почином». Повторив несколько раз эту заповку и как бы оценив, что получается она неплохо, соловей перешел на «стукотню».

— Разные они бывают, а эта — юлиная, — сказала Иринка. — Птица есть такая — юла, лесной жаворонок. Кто из них кого повторяет — не знаю, но соловей подает сейчас сигнал своей соловке: прилетай, мол, садись рядом и слушай песню о любви.

Частый продолжительный стук сменился призывным свистом.

— Каково свистнется, такого и аукнется, — засмеялась Иринка. — Беспokoится, бедолага: запропастилась его дружка. Свищи сильней, отыщется!

В повторных свистах слышалось уже какое-то неодобрение, осуждение, будто ревность заговорила в пернатом солисте. И вдруг беспокойный, озорной зов уступил место сиротливому кукушечьему тону. Отчаялся соловей, заскукал и роняет с высоты невеселые двухдольные такты.

— А это — «кукушкин перелет». Вот так вашего брата, Костя, и приучают к порядку — сиди и кукуй один, если больно нетерпелив. А соловка уже где-то рядом затаилась, еще маленько покуражится и явится к нему: сердце-то ведь не каменное...

— Ты говоришь, как о человеке.

— Костя, не порть сказку, — шутливо пригрозила Иринка. — Если сам не понимаешь песню, так хоть слушай меня.

Угомонилась печаль соловьиная, улеглась обида, и в песню стала вплетаться мелодия, напоминающая цвеньканье плоского камешка по зеркалу тонкого льда. И легкая, еще не совсем замершая тревога в ней, и нотки радости, и желанье раскатиться — удало, бесшабашно, безоглядно.

— Пленкает, — заметила Иринка, — значит, прилетела дружка. Успокоился, подхалимничает перед ней. Еще не то будет — «гусачком» пойдет перед ней!

Соловей и в самом деле начал выводить такие рулады, что оба мы невольно рассмеялись Иринкиному прогнозу.

— Разбираешь, что он заливаает, шельмец? «Ле-тят гусь-ки, ду-бовы нос-ки, го-во-рят гусь-ки: то-то-ты, то-то-ты!».

— Похоже.

— Не похоже, а точно! Слуха у тебя нет, Костя, и воображения тоже... А теперь он, как камаринский мужик, танцует перед ней и приговаривает: «Че-кот, че-ко-ты, че-ко-ту-щеч-ки!»

Иринка снова негромко засмеялась.

А песня все веселела, оживлялась, наполняя лес таким переливчатым звучанием, такими пассажами, что даже Иринка не успевала пояснять эти очень быстрые последовательные чередования нот от самых высоких к низким и наоборот.

— «Раскат», — только и сумела прошептать она, снова закрывая мои губы ладонью. — Слушай и ни о чем не спрашивай.

Такого самозабвенного пения я никогда не слышал. Казалось, что соловей отрешился от всего на свете и все свое восемнадцатисантиметровое существо безраздельно отдал песне. Ее слушали и травы, и деревья, и разбуженные птицы, и отходящие ко сну звезды, и умиротворенно приластившаяся к моему плечу Иринка. Это был голос самой красоты, созданной из всего, что есть лучшего на земле.

Как бы раздарив всего себя без остатка, задохнувшись от счастливого изнеможения, соловей перешел на «бульканье».

— Целуются, наверно, — светло вздохнула Иринка. — Поздравляет его соловка, голубит...

И вдруг надтреснуто ухнула от зависти какая-то хищная птица, надрывным хохотом отозвалась ей другая, зарыдала третья. И пошла колобродить по роще тревожная, смутная волна, покатились черная перебранка, заklubилась неожиданная беда.

Зябко поежив плечи, подобралась Иринка. Беспокойно зашумели кроны деревьев, как бы передавая друг другу по лиственному телеграфу дурную весть. Ощетинились пиками травы. Медными переливами зазвенел хрустальный родник, замерцали голубые копыта далеких звезд.

— Наверно, вот так начинается война. Ты не знаешь, Костя?

— Нет.

— И я не знаю. И никогда не хотела бы знать... А ты говоришь: «А если я разобьюсь?» Ведь разбиваются только на войне.

— Нет, не только. Но на войне чаще... Да что ты думаешь об этом, глупая!

— Я не глупая... Просто очень люблю тебя. Ты даже ни разу не спросил меня об этом. А я спрашивала. И верю, знаю, что любишь. И еще раз говорю: никому не отдам тебя, даже... даже смерти. Помнишь «Девушку и смерть»? Вот и я такая же. Ты меня еще не знаешь, Костя...

Словно поддавшись общему настроению внезапной тревоги, забеспокоился и соловей. Новые колена его песни были не похожи на все другие, они звучали глуховато, тяжело, с оттенком какой-то надсады.

— Редко он так, — сказала Иринка, вслушиваясь в эти колена. — «Лешева дудка». Слышишь, как трубит?

«Лешева дудка» перемежалась порой «кльиканьем», будто кто-то в эти нерадостные минуты всхлипывал, кто-то жаловался на невзгоду, кто-то плакал навзрыд. Но вот в сумятицу тревожных звуков врезалось что-то новое, успокаивающее, будто встал пробудившийся великан и сказал всем растерявшимся, мятущимся: «Стойте!»

— «Оттолочка», — облегченно промолвила Иринка. — Слава богу, теперь легче пойдет.

Она сказала это с таким серьезным видом, как будто речь шла не о соловьином пении, а о чем-то более важном, существенном.

— Теперь пойдет! — повторила Иринка. — Вон уже на свист перешел. Давай! Давай, соловушка! Глуши окаянное филинь, слепи сычей лупоглазых!

Лихой, молодецкий свист начал дробиться, переходить на частую, отрывистую щелкотню, названную Иринкой «Дробью». Чем-то отдаленно напоминала она торжественно приподнятый барабанный бой, мелодию победного марша.

И сразу же после нее — умиротворяющая, тихая трель.

Малиновым колокольцем зазвенел родничок в Лебединой балке, заискрились росные травы, смолк трепет листьев над головой, растаяли голубые звездные пики.

Кончилась соловьиная ночь. С востока шел рассвет.

— Вот мне и восемнадцать. Поздравь меня.

Счастливая Иринка была похожа на девушку-сказку.

6

А сегодня... Нет, она и сегодня живет. Живет во всем прекрасном. И нету в сердце места щемящему чувству печали.